

3. Тяжелая рабочая юность. - Неумирающий идеал. - Смерть матери

За тяжелой порою детства и отрочества, омраченной ранним знакомством со всей грязью и ужасом крепостного строя русской жизни, последовала еще более безрадостная и мрачная юность. Вскоре она затмила собою самые ужасные воспоминания ранних лет, и, как это часто случается, юноше начало даже казаться, что позади остались одни лишь "ручейки, долины, холмики, лески и все, чем в доле беззаботной в деревне счастлив земледел, чему б теперь опять охотно душой предаться я хотел" ("Мечты и звуки").

Я был несчастней, -

сравнивает он дальше свою долю с долей земляка-товарища, тоже попавшего в Петербург, -

... Я пил дольше
Очарованье бытия,
Зато потом и плакал больше,
И громче жаловался я.

Как известно, из-за ссоры с отцом сын богатого сравнительно помещика, Некрасов очутился один-одинешенек на улицах огромного города, в положении почти нищего; но на психологическую сторону этого превращения как-то мало обращалось до сих пор внимания. По исключению из гимназии поэту грозила серьезная опасность пойти по следам предков, в ранние годы поступавших в военную службу и там, в душной атмосфере казармы, доканчивавших свое воспитание или, лучше сказать, разращение, начатое в рабовладельческой усадьбе. Военщина являлась в те времена не только последним прибежищем для всех недорослей из дворян, неудачников на других путях жизни, но и окружена была в глазах обывателя известным ореолом как одна из наиболее завидных жизненных карьер. О такой карьере для сына мечтал отец; толкали юношу на проторенный путь и материальные затруднения родителей; семья их все росла, а денежные средства благодаря широким привычкам главы дома все таяли (одно время Некрасова-отца соблазнила даже должность исправника): на продолжительную и значительную поддержку из дому юноша рассчитывать поэтому не мог. И вот летом 1838 года [*Сам Некрасов называл 1837 год, год смерти Пушкина, но точное указание сестры его (20 июня 1838 года), по-видимому, более соответствует действительности.*] его отправили с рекомендательным письмом к жандармскому генералу Полозову в Петербург, для поступления на казенный счет в один из кадетских корпусов.

В Петербург Некрасов явился, письмо Полозову передал, но вместо корпуса стал готовиться к экзаменам в университет и, как бы бросая вызов ненавистному прошлому, в сентябрьской книжке "Сына Отечества" напечатал первое свое стихотворение - "Мысль":

Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый!..

Биографы поэта утверждают, что все это вышло случайно: Некрасов познакомился, мол, со студентом Глушицким, и тот так "увлек его рассказами о преимуществах университетского образования", что мысль о корпусе была брошена. В действительности вряд ли произошло это так уж случайно: ведь не Глушицкий же заставил Некрасова, почти на другой день по приезде в Петербург, понести свои стихи в журнал Полевого. Очевидно, и сам поэт не хуже других понимал все преимущества интеллектуальной карьеры перед фронтовой шагистикой. Знакомство со студенческим кружком сыграло, по всей вероятности, в его решении лишь роль последней капли, переполнившей чашу.

С легкой или, вернее, тяжелой руки Достоевского утверждается нередко, что "аннибаловой клятвой" Некрасова, данной им себе в юности, была клятва "не умереть на чердаке". Сам Достоевский высказывает эту странную мысль в довольно грубой и ядовитой форме: "Миллион - вот демон Некрасова... демон, который осилил, и человек остался на месте и никуда не пошел (?). Этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца... Тогда-то и начались, быть

может, мечтания Некрасова, может быть, и сложились тогда же на улице стихи: в кармане моем - миллион! (из поэмы "Секрет") (!).

Никто другой из русских писателей не страдал столько от клеветы и сплетен мракобесов и личных недругов, как Некрасов. Это был, можно сказать, какой-то организованный поход... И думается, при всех недостатках характера и ошибках жизни нашего поэта главное основание, главную пищу этим сплетням дали его многочисленные публичные самообвинения, его горячие покаянные песни, плод высокоразвитой, исключительно чуткой совести... Теперь, когда факты жизни Некрасова - его заслуги и его "вины" - более или менее общеизвестны, мы, конечно, вправе назвать грубые намеки Достоевского по меньшей мере необдуманными. Конечно, никакого права не имел он отождествить уродливого героя некрасовской сатиры ("И вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!") с самим ее автором! Не имел он права утверждать и вообще, что жажда материального самообеспечения ("демон миллиона") была будто бы с юных лет главным двигательным нервом духовной деятельности Некрасова... Не говоря уже о том, что никакого "миллиона", - как мы теперь знаем, - Некрасов к концу жизни не стяжал, утверждение это во всех отношениях абсурдно - оно разлетается в прах при первом прикосновении критики. Как, в самом деле, странно поведение некрасовского "демона"!

Придается огромное значение "аннибаловой клятве" Тургенева, выразившего свой протест против крепостного права в свойственной ему форме мягких художественных образов, которые так восхищают нас в "Записках охотника"; но разве же можно сравнивать этот "прекраснодушный", в сущности, протест с действительно пламенным протестом Некрасова, всю жизнь буквально горевшего "святым беспокойством" за судьбы народа? Здесь перед нами всеобъемлющая страсть, о которой поэт имел бы полное право сказать словами лермонтовского героя:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла!
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской.

Эта страсть проникла в душу Некрасова еще в раннем отрочестве, на волжском берегу, при виде шедших бечевой и певших заунывные песни бурлаков.

О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз ее назвал
Рекою рабства и тоски!
Что я в ту пору замышлял,
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал -
Пусть умрет в душе моей,
Чтоб кто-нибудь не осмеял!

[Несмотря на подзаголовок "Детство Валежникова", сразу видно, что в поэме "На Волге" Некрасов рисует собственное детство. По первоначальному плану стихотворение это составляло часть большой поэмы "Рыцарь на час", и пьеса, теперь известная под этим заглавием, называлась в прежних изданиях "Из поэмы Рыцарь на час, гл. VI: "Валежников в деревне"".]

Целых восемь лет (1838-1846) человек подвергается опасности зачахнуть от непосильной и неблагодарной работы, даже буквально умереть с голоду, а между тем стоило ему вернуться на лоно благонамеренности и, помирившись с отцом, поступить в корпус, и он снова был бы сыт, обеспечен и будущее улыбалось бы ему в виде, может быть, блестящей военной карьеры. "Он был бы, если бы захотел, - говорит Н. К. Михайловский, - блестящим генералом, выдающимся ученым, богатейшим купцом. Это мое личное мнение, которое, я

думаю, впрочем, не удивит никого из знавших Некрасова". Однако мы знаем, что за все годы своей тяжелой юности он ни разу не подумал ни об одной из подобных возможностей "самообеспечения"... Рисуя впоследствии в "Несчастных" душевное состояние юноши, заброшенного в столичный омут, поэт писал:

Счастлив, кому мила дорога
Стяжанья, кто ей верен был
И в жизни ни однажды Бога
В пустой груди не ощутил.
Но если той тревоги смутной
Не чуждо сердце - пропадешь!
В глухую полночь, бесприютный,
По стогнам города пойдешь.

Так именно и было с Некрасовым. Не "дорога стяжанья" пленяла его; душой его владела иная властная сила, иная "смутная тревога" - страстная любовь к родине и народу, которая могла вылиться в единственно возможной в те времена форме служения родной литературе, - и, несмотря на все частные ошибки и, быть может, даже падения, сила эта всегда брала в его душе верх. Ниже мы помещаем записку Г. З. Елисеева, чрезвычайно интересно и оригинально освещающую эту сторону личности Некрасова; пока же ограничимся сказанным и вернемся к юным годам поэта, к тем обстоятельствам, при которых окончательно сформировались его личность и поэзия.

Первые годы пребывания Некрасова в Петербурге совпали с одним из самых печальных и мрачных периодов в истории русской журналистики вообще и петербургской в особенности. Впоследствии сам Некрасов так охарактеризовал этот период:

В то время пусто и мертво
В литературе нашей было.
Скончался Пушкин - без него
Любовь к ней публики остыла.
Ничья могучая рука
Ее не направляла к цели;
Лишь два задорных поляка
На первом плане в ней шумели...

И в самом деле, со смертью Пушкина литературный диапазон сразу резко сузился... Лучшие приуныли и пали духом, худшие подняли голову и обнаглели... Что касается общества, то оно еще помнило, как рассказывает Тургенев в "Литературных и житейских воспоминаниях", "удар, обрушившийся на самых видных его представителей лет двенадцать перед тем; и из всего того, что проснулось в нем впоследствии, особенно после 55 г., ничего даже не шевелилось, а только бродило - глубоко, но смутно - в некоторых молодых умах. Литературы, в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими, столь же и более важными проявлениями их, - не было, как не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы; а была словесность - и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали".

Действительно, не только в талантливых, но даже и в гениальных представителях литературы в конце тридцатых годов не было недостатка: загоралась яркая звезда Лермонтова; к голосу Белинского уже прислушивалась вся юная Россия; Гоголь был признанным главою "натуральной школы"; жив еще был и Жуковский... Но Белинский лишь в самом конце 1839 года переехал из Москвы в Петербург и в письмах отсюда к московским приятелям долгое время жаловался на полное одиночество. Жуковский жил при дворе и от журнального мира всегда стоял в стороне. Лермонтов, когда не находился в ссылке, вращался также в высшем обществе и к литературе относился с показным пренебрежением. Наконец, Гоголь, в котором в это время начинался уже печальный внутренний перелом в сторону пиетизма, жил большею частью в Риме и лишь редкими наездами бывал в Москве и Петербурге.

Во времена Пушкина кроме него самого, издававшего "Современник", во главе журналистики стоял такой даровитый и смелый боец за правду, как Полевой, но к концу тридцатых годов от этого смелого бойца уже оставалась одна жалкая тень. Жизнь заставила его пойти на компромиссы, и, сильно подавшись вправо, сделавшись поставщиком псевдопатриотических драм и фактическим редактором грече-булгаринского "Сына Отечества", он близко подошел к направлению "Северной пчелы". "Два задорных поляка", то есть Булгарин и Сенковский, играли в эти годы вообще непропорционально большую роль в петербургской журналистике. Несомненно, Сенковский был чище Булгарина, даровитее и умнее, но ум его, по остроумному выражению баснописца Крылова, был "какой-то дурацкий", свободный от всяких принципов. Его гремевшая в тридцатых годах и имевшая до семи тысяч подписчиков "Библиотека для чтения" сеяла в умах читателей легкомысленное, "веселое" отношение решительно ко всем явлениям литературы и жизни... В этом смысле рука об руку с "Библиотекой для чтения" шли довольно многочисленные в эти годы альманахи, сборники и другие полупубличные издания, единственною причиною возникновения которых был расчет издателей-барышников на пробуждающуюся в русской публике охоту к чтению. Пушкинский "Современник" в руках корректного, но скучноватого профессора эстетики Плетнева влачил жалкое существование; "Отечественные..." же "... записки", после продолжительного перерыва возобновленные в январе 1839 года, лишь с конца этого года, с переездом Белинского в Петербург, когда и все его московские приятели (Боткин, Грановский, Кудрявцев, Герцен) перекечевали в этот журнал, стали приобретать постепенно значение боевого либерального органа.

В такое-то время явился в Петербург Некрасов, полный радужных юношеских мечтаний и горячей веры в литературу как в единственно возможную в то время форму разумной и свободной деятельности. Неопытный новичок-провинциал, мало развитой в литературном смысле юноша, он не умел еще разбираться в тогдашних литературных партиях и направлениях, и, по всей вероятности, какой-нибудь Греч или Сенковский ничем ровно не отличался в его глазах от Полевого или Краевского. По крайней мере, стихи Некрасова начали появляться безразлично в "Литературной газете", "Библиотеке для чтения", "Сыне Отечества", "Прибавлениях к "Инвалиду"" и прочих; только собственное природное чутье привело его в конце концов в кружок Белинского. Но случилось это, к сожалению, не так скоро...

"За славой я в столицу торопился", - вспоминал позже поэт. И действительно, едва успев напечатать в журналах десяток-другой своих полудетских стихотворений, едва успев познакомиться с дешевыми лаврами и дорогими терниями литературной дороги (в виде холода, голода и одиночества в большом городе), ровно год спустя по прибытии в Петербург он уже сдал, как мы видели, в цензуру книжечку своих стихотворений. В биографиях Некрасова сообщается обыкновенно, что к этому времени нужда уже выпустила его из когтей, и он сумел даже сделать кой-какие сбережения для выпуска в свет книги. Но это, конечно, недоразумение. Деньги на издание собраны были Бенецким по подписке, и настоящая нужда Некрасова с осени 1839 года, то есть со времени поступления его вольнослушателем в университет и окончательного разрыва с отцом, еще только начиналась: с этого именно времени в течение Двух-трех лет он вел непрерывную борьбу за существование в буквальном смысле слова - с ночевками в ночлежных приютах, жизнью в сырых углах и подвалах, корпением над черной литературной работой, едва спасавшей поэта от голодной смерти. *[В воспоминаниях Белоголового о графе Лорис-Меликове, который в юности (именно в начале сороковых годов) жил одно время с Некрасовым, приводится любопытное показание графа Лориса о том, что мать поэта изредка, тайком от мужа, присылала сыну небольшие суммы денег.]*

О неудачном литературном дебюте Некрасова мы уже говорили. *[До чего мало знакомы у нас с биографией Некрасова, показывает следующая цитата из одной недавней юбилейной статьи: ""Мечты и звуки" - так назывался первый сборник, доставивший Некрасову некоторую известность и порядочную материальную выгоду. Но уже раньше того (?) он писал в самых разнообразных жанрах, стихами и прозой, начиная с водевилей и заканчивая критическими разборами ученых книг" ("Научное обозрение", 1903, январь).]* Собственных признаний поэта насчет впечатления, какое произвело на него это событие, у нас, к сожалению, нет. Все говорит, однако, за то, что здоровое критическое чутье Некрасова, сила его большого природного ума подсказали ему, что если приговор Белинского и был несколько резок по форме, то по существу заключал в себе много правды: основываясь на абстрактных лирических

излияниях, Некрасов не мог бы пойти далеко. Несравненные художники слова, Пушкин и Лермонтов умели, конечно, превращать в настоящие бриллианты поэзии все, к чему ни прикасались. Так, Лермонтов уже в очень ранние годы, несмотря на поверхностное знакомство с жизнью, на основании лишь "внутренних видений своего духа" (выражение Белинского) мог создавать вещи вроде "Ангела" или "Паруса", не уступающие позднейшим его шедеврам. Но это - завидное право гения, являющегося, может быть, раз в столетие... На свое счастье, Некрасов рано понял это; он принял свою неудачу как вполне заслуженную и с чисто юношеским ригоризмом решил, что он совсем не поэт. По крайней мере мы знаем, что после плачевного опыта с "Мечтами и звуками" он надолго оставил лирику, а к самой этой книжке отнесся с беспощадной свирепостью: все уцелевшие от продажи экземпляры (а они составляли, вероятно, значительнейшую часть издания) немедленно уничтожил; во все позднейшие издания своих стихотворений никогда не включал из сборника "Мечты и звуки" ни одной пьесы и до конца жизни не любил даже вспоминать о них. Наконец, ни малейшего неприязненного чувства не сохранил он и к своему неумолимо-строгому судье Белинскому, к которому, наоборот, с первого же дня личного знакомства стал относиться с благоговением самого преданного и верного ученика (и благоговение это донес до могилы). Можно думать, что, вращаясь в студенческих кружках Петербурга, Некрасов уже и в момент выпуска своей злополучной книги хорошо знал имя Белинского и высоко его ценил, - оттого-то и принял он так к сердцу приговор великого критика.

Чего, однако, стоило этому гордому, замкнутому, "с самого начала жизни раненому" сердцу подобное безмолвное и по-видимому спокойное отречение от заветной юношеской мечты? Об этом, повторяем, сведений мы не имеем, хотя и нетрудно представить себе внутреннюю бурю, пережитую поэтом. Инстинкт тянул к литературе и поэзии, продолжая, быть может, подсказывать: "Здесь твое призвание, законное место!" А рассудок и опыт жизни говорили другое: "Стой! Ты - не поэт, а всего только мечтатель... Войти в этот храм ты недостоин".

Это была, разумеется, тяжелая внутренняя драма; в течение нескольких лет рефлексия одерживала верх над инстинктом, и Некрасов шел по дороге литературного чернорабочего. Но, с другой стороны, именно в том обстоятельстве, что он не бросил все-таки литературы, сказалась могучая сила настоящего таланта. В лице Некрасова мы имеем яркий пример того, что значит крупное литературное дарование: точно стихийная сила, рано или поздно оно неудержимым потоком прорвется наружу, несмотря ни на какие искусственные преграды и плотины! Несмотря на всю тяжесть нужды, Некрасов никуда не пошел от литературы. Не удалось в качестве признанного жреца войти в храм, - он остался у ворот храма в качестве простого подметальщика сора, рецензента, куплетиста, фельетониста, лишь бы быть возле литературы! Даже умирая с голоду, не покидал он своего поста, пока наконец терпение, упорный труд, горячая любовь, случай (в виде знакомства с Белинским), а главное - развернувшийся постепенно талант не вывели на широкую дорогу славы...

В биографиях Некрасова этот период его жизни (1840-1845 годы) признается одним из самых темных. Известны, правда, отрывочные рассказы самого поэта о некоторых исключительных моментах его тогдашнего житья-бытья, о том, например, как, голодая и не имея ни гроша в кармане, заходил он в один ресторан на Морской, где дозволяли читать газеты и тем, кто ничего себе не заказывал: Некрасов брал для вида газету, а в то же время придвигал незаметно тарелку с хлебом и насыщался... В другой раз он заболел от продолжительной голодовки и много задолжал квартирному хозяину-солдату. Вернувшись однажды поздно вечером от товарища совсем больным, он не был впущен хозяином в свою каморку. Между тем на дворе стояла холодная ноябрьская ночь... Будущему знаменитому писателю пришлось бы замерзнуть под забором, если бы над ним не сжалился проходивший мимо нищий, который отвел его в какую-то ночлежку на окраине города. Там же Некрасов отыскал себе и заработок, за 15 копеек написав кому-то из товарищей по злосключениям прошение... В дополнение к этим отрывочным рассказам-воспоминаниям мы имеем краткое глухое признание поэта, что он попал в эту пору в такой литературный кружок, в котором "скорее можно было отупеть, чем развиваться"... С другой стороны, если перебрать все написанное Некрасовым за эти четыре-пять лет (за всю жизнь он написал, по собственному признанию, до трехсот печатных листов прозы, и, конечно, значительная доля их приходится на юношеские годы), то станет вполне ясно, что бедному юноше было в это время не до "жизни" в настоящем смысле этого слова! Нужно от

души пожелать, чтобы нашелся наконец добросовестный исследователь, который взял бы на себя труд внимательно перечитать всю грудку юношеских писаний Некрасова и проследить, насколько они вызваны были заботой о насущном куске хлеба и насколько отразилась в них внутренняя жизнь поэта. Кроме многочисленных пародий и юмористических куплетов (из которых в общеизвестное собрание стихотворений вошел только "Говорун") Некрасовым между 1840-1843 годами написаны следующие рассказы и повести [Сведения эти взяты из статьи г-на В. Горленко "Литературные дебюты Некрасова" ("Отечественные записки", 1878, декабрь), дающей, к сожалению, лишь очень краткий и далеко не полный перечень и характеристику прозаических опытов Некрасова.]: "Макар Осипович Случайный", "Без вести пропавший пиита", "Утро в редакции", "Певица", "В Сардинии", "Двадцать пять рублей", "Ростовщик", "Капитан Кук", "Необыкновенный завтрак", "Помещик 23 лет", "Карета, предсмертные записки дурака", "Жизнь Александры Ивановны", "Опытная женщина", "Жизнь и люди (философическая сказка)"; затем следовали водевили и драмы под псевдонимом Перепельского: "Актёр", "Шила в мешке не утаишь", "Феоктист Онуфриевич Боб", "Муж не в своей тарелке", "Дедушкины попугаи", "Вот что значит влюбиться в актрису", "Материнское благословение", "Похождения Петра Столбикова". Но вся эта беллетристическая производительность должна, кажется, померкнуть перед массой написанных Некрасовым театральных и литературных рецензий. О количестве их можно судить по тому обстоятельству, что за один 1841 год и в одной только "Литературной газете" г-н Горленко насчитал их больше тридцати, а между тем Некрасов писал рецензии постоянно, из года в год, помещая их почти во всех литературных журналах сороковых годов: в "Русском инвалиде", "Прибавлениях к "Инвалиду"", "Библиотеке для чтения", "Отечественных записках", "Пантеоне" и даже "Финском вестнике"!

Много работал также Некрасов в качестве фельетониста... Но и это еще не все: нужда привела его и к лубочным издателям (Иванову и Полякову), для которых он сочинил несколько азбук и сказок. В числе последних известна большая "русская народная сказка в стихах" (больше двух тысяч стихов) "Баба-Яга костяная нога". Состояла она из восьми глав: в первых двух автор пытается подражать манере "Руслана и Людмилы", в остальных - народным сказкам Пушкина.

Действительной народности в этой "народной" сказке, так же как и поэзии, - ни капли; содержание вполне нелепое, форма - примитивная. [Вот небольшой образчик. Баба-Яга пытается соблазнить героя Булата:

*Да и чмок его тут в губы...
Чуть Булат с досады зубы
Тут колдунье не разбил:
"Чтобы чорт тебя любил! -
Закричал он. - Я не стану...
Я люблю одну Любану".
Ха-ха-ха! Да хи-хи-хи!
И пустилась во смехи:
"Полно, миленький дружок,
Мой прекрасный жизнечок,
Чем же я тебе худа?
Где же лучше красота?
Рот немножко широконек,
Нос изрядно великонек,
На макушке есть рога,
Словно кость одна нога
Да немножко ухо длинно,
Но зато ведь я невинна!
Вот что главное, дружок..."
И опять Булата чмок!
Чуть не выл Булат со злости...]*

Невольно приходит в голову, что "Баба-Яга" писана Некрасовым не в Петербурге в 1841 году, а еще в Ярославле, двумя-тремя годами раньше, теперь же, в минуту жизни трудную, лишь слегка, быть может, подправлена и пущена на книжную толкучку...

Под гнетом этого беспросветного черного труда проходили годы, лучшие годы молодости...

Кажется, летом 1842 года в жизни Некрасова случилось знаменательное событие - примирение с отцом и поездка в родное Грешнево. За время четырехлетнего отсутствия поэта там произошло много печального. Умерла, прежде всего, любимая сестра его, трагическую судьбу которой рисуют следующие строки "Родины":

И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе, и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила...
Но, матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодной и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.

Других подробностей тяжелой драмы не сохранилось, но легко представить себе, что переживала несчастная мать, сама давно уже сгоравшая и таявшая как свеча. По-видимому, незадолго до ее смерти в доме произошла какая-то дикая история, быть может, один из тех многочисленных конфликтов, какие бывали между бедной страдалицей и ее властелином; на это есть намек в "Рыцаре на час": "И гроза над тобой разразилась, ты, не дрогнув, удар приняла!..." Сам "палач" не выдержал своей роли и в позднем раскаянии упал к ногам замученной им женщины: "Ты победила! У ног твоих детей твоих отец..."

Некрасова вызвали из Петербурга; но, по всей вероятности, письмо отца написано было в успокоительном тоне, позволявшем думать, что непосредственная близкая опасность больной не грозит: по крайней мере, поэт не поторопился выехать и получил вскоре известие, что все уже кончено. Мать Некрасова умерла 29 июля 1841 года, и когда следующим летом он собрался посетить Грешнево, на могиле ее уже лежала плита с вырезанной на ней надписью, а в доме сделаны были перестройки и заведены новые порядки.

У той плиты, где ты лежишь, родная,
Припомнил я, волнуясь и мечтая,
Что мог еще увидеться с тобой -
И опоздал!.. И жизни трудовой
Я предан был, и страсти, и невзгодам,
Захлестнут был я невскою волной...

Встреча с отцом имела наружно мирный характер. К двадцатилетнему юноше уже нельзя было относиться как к мальчику, и возможно, что старик испытывал теперь даже некоторое почтение к сыну, к его твердости и уменью стоять на собственных ногах. "С усталой головой, ни жив, ни мертв (я голодал подолгу), но горделив - приехал я домой", - находим в поэме "Мать" воспоминание об этой поездке на родину.

После смерти жены отец Некрасова прожил еще около двадцати лет, но поэт редко вспоминает об этом позднейшем периоде его жизни, а если и вспоминает, то с несравненно большей мягкостью; иногда прорываются даже как будто теплые нотки:

Буря воев в саду, буря ломится в дом...
Я боюсь, чтоб она не сломила
Старый дуб, что посажен отцом,

И ту иву, что мать посадила...
(1863 год)

Мой черный конь, с Кавказа приведенный,
Умен и смел, как вихорь он летит;
Еще отцом к охоте приученный,
Как вкопанный при выстреле стоит.
(1874 год)